

Thani Tan

Мы, система

Thani Tan
Мы, система

«Автор»

2026

Тан Т.

Мы, система / Т. Тан — «Автор», 2026

Каждый день здесь похож на предыдущий. Подъём. Заправка. Построение. Обед. Отбой. Бумажные правила въелись в стены, имена стёрты, а вместо людей — номера, выведенные белой краской на спинках коек. Девятый не помнит, как оказался здесь. Он не знает, кто или что стоит за стенами, откуда берётся низкий гул и почему воздух пахнет ржавчиной. Он знает только одно: любое «почему?» карается ударом сухой линейки, оставляющей на коже багровое клеймо. Но однажды ночью в темноте раздаётся шёпот соседа: «Как думаешь, снаружи что-нибудь есть?» — и этот вопрос, простой и невозможный, разрывает тишину, в которой нельзя даже дышать свободно. «Один и тот же день» — это не история побега. Это история человека, который забыл, что такое небо. Медленная, вязкая антиутопия в духе Кафки, где главный надзиратель — не человек за дверью, а собственное тело, помнящее каждый шрам, и собственное сознание, которое уже не смеет спрашивать. Потому что спрашивать — опасно. А не подчиняться — смертельно.

© Тан Т., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Конец ознакомительного фрагмента.	9

Thani Tan

Мы, система

Глава 1

Каждый день — новый виток одного и того же колеса. Оно не меняет траектории. Место остаётся прежним. Правила — тоже. Даже воздух здесь застоялся намертво — спёртый, с прикусом ржавчины и старой пыли, которая оседает на лёгких липким, несмываемым налётом.

Распорядок въелся в стены. Каждый шаг, каждое движение выверено до миллиметра на выцветших, истрёпанных временем листах. Подъём. Заправка. Построение. Обед. Отбой. Они висят на каждом углу, на каждой двери, над каждой койкой. Бумага пожелтела, края обтрепались, но буквы всё так же въедаются в глаза сильнее тусклого света ламп — от них рябит, даже когда смыкаешь веки. Между ними — пустота. Лишь тягучее ожидание.

Я слышу, как дышит человек слева — его лёгкие свистят, будто в них застряли влажные опилки. Я слышу, как скрипит пружинами матрас справа — кто-то ворочается, хотя отбой был час назад. Но мы не смотрим друг на друга. Мы не говорим. Даже имён здесь нет — на спинках коек белой краской выведены цифры. Штрих-коды на выдохе.

Кто придумал это? Кто там, за стенами, или над ними? Я не знаю. Никто не знает. Возможно, правды не существует вовсе. Иногда мне кажется, что наверху стоят часы с огромными стрелками, и кто-то передвигает их вручную, с хрустом. А мы — просто шестерёнки. Ржавые, изношенные, но всё ещё вращающиеся по инерции. Может, здесь никогда никого не было, кроме нас. Может, правила выдумали сами стены, а мы лишь покорно исполняем их волю. Потому что так легче: не думать. Не спрашивать, почему завтрак пахнет металлом, а вода в кране всегда чуть тёплая, будто её уже пропустили через чужое тело до нас.

Мы подчиняемся. Все подчиняются. Даже тот парень с третьей койки, который вчера осмелился спросить: «Почему?» — теперь лежит в лазарете, и оттуда доносится только глухой, мокрый стон. Потому что спрашивать — опасно. А не подчиняться — смертельно.

Иначе — удар.

Хрясь.

Я знаю этот звук. Сухая линейка о распахнутую ладонь. Щелчок, от которого сводит скулы и на мгновение гаснет свет перед глазами. Удар отдаётся не столько в кости, сколько в затылок — туда, где ещё теплится последняя, непотушенная искра гордости. Острая боль растекается по руке медленной, горячей волной, оставляя багровую полосу. Отметину. Клеймо. Я чувствую, как под кожей пульсирует кровь. Как немеют кончики пальцев, будто их присыпали пеплом.

«Ты здесь не человек. Ты — единица. Исполнитель. Тело, которое вовремя встало, застегнулось и вышло на построение».

Перед отбоем у нас была «поверка». Нас считали. Не головы — пальцы. Надзиратель проходил вдоль коек и касался каждого за плечо. Не грубо. Почти невесомо. Но от этого прикосновения кожа покрывалась мурашками, потому что рука у него была холодная. Всегда холодная. Будто у него внутри не кровь, а масло из той самой машины за стеной. Я закрывал глаза, когда он подходил ко мне. Считал про себя. Три. Два. Один. Касание. И он шёл дальше. Сегодня он остановился у койки 5. Я услышал, как скрипнула пружина — он наклонился. Потом тихий голос:

— Дыши.

И пятый задышал чаще. Почему? Этого я не знаю. Я не повернул головы. Я смотрел в потолок и видел, как трещина на нём соединяется с другой трещиной, образуя букву «Т». Терпение. Тьма. Только.

Я лежу в своей кровати. На спинке белой краской выведено: 9. Кровать такая же, как у всех, но цифра — моя. Я смотрю на ладонь. На ней уже целая карта полос. Следы, которые никто не считает. Я их не считаю. Это просто линии. Пересечения. Шрамы, наложенные поверх старых шрамов. Они не складываются в план побега, не ведут к выходу, не рассказывают историй. Они просто есть. Как и я.

Свет гаснет не сразу — он умирает в два толчка. Сначала потолочные лампы, длинные и пыльные, моргают раз, другой, точно сомневаясь, стоит ли вообще оставлять нас в темноте. Потом раздаётся тот самый щелчок — не линейки, а рубильника, сухой и окончательный, — и мрак падает на помещение разом, как отсечённая плита.

Тишина. Но не настоящая.

Настоящая тишина — это когда нет ничего. А здесь она слоистая, сотканная из дыханий, скрипов, шороха казённых простыней. Воздух после отбоя густеет, напитывается теплом тел и кисловатым запахом усталости. Я лежу на спине. Рука всё ещё горит — ровно, глубоко, будто под кожей застрял уголёк. Я не смотрю на ладонь в темноте. Я и так знаю, что на ней.

Слева — всё тот же свист. Человек с влажными опилками в лёгких всё ещё дышит.

Справа — ворочаются. Пружины поют не по-человечески — тонко, надрывно, будто их перерезают по одной, медленно и с удовольствием. Матрас стонет под тяжестью тела, которому не найти места. Человек не спит. В этой темноте сон не приходит ни к кому.

— Девятый.

Голос — как камешек, брошенный в воду. Лёгкий, почти игривый. Я вздрагиваю. Потому что такой голос не вяжется с этим местом. С этой темнотой. С этим воздухом, пропитанным ржавчиной и усталостью.

Я не отвечаю. Жду. Он знает, что я не сплю. Он всегда знает.

— Девятый, ты слышишь? — шепчет он, и в голосе — улыбка. Я не вижу её, но я слышу, как она растягивает слова, делает их мягкими, почти круглыми. — Я тут подумал. Слушай. А что, если мы — не заключённые? Что, если мы — артисты? Вроде как труппа. А надзиратели — зрители. Только билеты продавать забыли. Или им не нужно. Они просто смотрят. Каждый день. Один и тот же спектакль. Подъём. Заправка. Построение. Обед. Отбой. И мы играем. Каждый свою роль. Ты — номер девять. Я — номер пять. И мы так хорошо играем, что сами поверили. Аплодисментов нет, но они есть внутри. В их головах. Они смотрят и думают: «Какой талантливый актёр этот пятый. Как он кашляет! Прямо как настоящий больной. И девятый — как он лежит! Ни одной лишней эмоции. Bravo».

Я молчу. В груди зверёк настораживается. Не от страха. От непонимания.

— Ты в своём уме? — спрашиваю я. Голос сухой, как старая бумага.

— Нет, — он смеётся. Тихо. Почти беззвучно. Но в этом смехе нет безумия. Есть **свобода**. Такая, которую даёт только полное отсутствие надежды. — Нет, я не в своём уме. Я в своём уме был вчера. Позавчера. А сегодня я понял, что ум — это ловушка. Пока ты думаешь — ты боишься. А я устал бояться. Я решил, что если я буду думать, что мы артисты, то завтрашний завтрак станет просто реквизитом. Каша — не еда, а бутафория. Удар линейкой — не боль, а спецэффект. Слышишь, как я кашляю? Это мой коронный номер. Я репетировал его три цикла.

Он кашляет. Но теперь, когда я слушаю, я слышу в этом кашле что-то новое. Ритм. Он кашляет в такт. Четыре раза. Пауза. Ещё два. Будто он отбивает ритм песни, которую слышит только он.

— Ты больной, — говорю я, но в голосе нет уверенности. Только усталость.

— Да, — соглашается он. Легко. С готовностью. — Больной. Но знаешь, что я заметил? Больные живут дольше. Потому что их не трогают. Кому нужен больной? Он сам сдохнет. Зачем тратить линейку? Экономия ресурсов, Девятый. Ты же любишь экономию. Ты говорил про трубы. Про воду. А я говорю про нас. Если притворяться больным — тебя не бьют. Если притворяться безумным — тебя не трогают. Я — самый безумный здесь. И поэтому я — самый живой.

Он замолкает. Я слышу, как он переворачивается на спину. Пружины поют. Не скрипят — поют. Он двигается так, будто он на кровати, а на гамаке. Легко. Невесомо.

— Девятый, — говорит он снова, и голос становится серьезнее. Тоньше. Как струна, которую натягивают. — Ты знаешь, почему я с тобой разговариваю? Не с седьмым, не с одиннадцатым. С тобой.

— Почему?

— Потому что ты слушаешь, — он делает паузу. Я слышу, как он облизывает губы. — Ты не перебиваешь. Ты не говоришь «заткнись». Ты просто слушаешь. Даже когда я несу чушь про артистов. Ты слушаешь. Это редкость. Здесь все слушают только себя. Свой страх. Свой гул. Свою трещину на потолке. А ты слушаешь меня. И поэтому я скажу тебе правду. Не ту, что я говорю всем. А настоящую.

Тишина. Такая, что я слышу, как бьётся его сердце. Слишком быстро. Слишком громко. Он не так спокоен, как притворяется.

— Я не знаю, есть ли что-то за стенами, — говорит он. Медленно. Слово пробует каждое слово на вкус. — Но я знаю, что когда я говорю эту чушь про артистов, я чувствую себя лучше. Не потому что я верю в неё. А потому что я **выбираю**. Я выбираю, что думать. Надзиратели выбирают, когда бить. Система выбирает, когда кормить. А я выбираю свой бред. И это единственный выбор, который у меня остался. Ты понимаешь?

Я сжимаю челюсть. Пальцы на правой руке расслабляются. Я не знаю, почему, но я перестаю бояться.

— Понимаю, — говорю я. И удивляюсь, что это правда.

— Тогда не молчи, — говорит он, и в голосе снова улыбка. Лёгкая. Почти детская. — Придумай свой бред. Завтра расскажешь. Только, чур, не такой, как у меня. Артисты — это моя тема. Придумай что-то своё. Может, мы — рыбы в аквариуме? Или экспонаты в музее? Или сны кого-то, кто спит снаружи? Я хочу послушать. Мне скучно одному нести чушь. Давай будем вдвоём.

Он кашляет. Коротко. Сухо. И добавляет шёпотом:

— Договорились?

Я лежу на спине. Смотрю в потолок. Буква «Т». Терпение. Тьма. Только.

Я думаю о рыбах в аквариуме.

И чувствую, как уголки губ — впервые за долгое время — чуть приподнимаются.

— Договорились, — говорю я.

В темноте — тихий, довольный вздох.

— Отлично. Тогда спокойной ночи, артист номер девять.

— Спокойной ночи, артист номер пять.

Я закрываю глаза. Гул за стеной становится чуть тише. Или мне просто кажется.

Сон приходит не как облегчение. Он приходит как приказ. И я подчиняюсь.

Я чувствую, как глаза наливаются свинцом, но внутри, в груди, что-то бьётся — маленький перепуганный зверёк. Он знает, что завтра будет то же самое. Что чьи-то руки снова будут гореть. А может, и меня в этот раз не обойдёт это чувство. Что тот парень из лазарета, возможно, уже и не дышит. Или дышит, но иначе. Той самой влажной, рваной одышкой, которая хуже тишины, потому что в ней слышно, как организм сдаётся, как лёгкие наполняются чем-то липким, что уже не выкашлять, не выжить. Интересно, кто-то вспомнит о его существовании

завтра? Кто-то вообще его знал? У него была койка номер три. Но цифра — не имя. Цифру можно стереть. Можно перекрасить. Можно присвоить другому телу, и никто не заметит разницы. Потому что мы здесь — не люди. Мы номера. Сменяемые. Взаимозаменяемые. Шестерёнки, которые можно вынуть и заменить, не останавливая механизма.

И всё же, когда темнота окончательно смыкается надо мной — не как одеяло, а как крышка, как плита, как тяжесть, которая опускается на грудь и не даёт вздохнуть полной грудью, — эти мысли тут же улетучиваются. Они тают, как пыль с потолочных ламп, которую сдувает невидимый сквозняк. Они не успевают зацепиться за сознание, потому что сознание уже съёживается, сворачивается в тугой комок где-то в затылке, отгораживаясь от всего, что было до темноты.

Странно думать о том, кого не помнишь в лицо, когда не помнишь самого себя.

Я не помню своего лица. Я не видел его никогда — здесь нет зеркал. Я знаю только цифру на спинке кровати. Девять. И шрамы на ладони. Они и есть моё отражение.

Зверёк внутри затихает. Не потому, что успокаивается. А потому, что устаёт биться о рёбра. Он сворачивается калачиком где-то под сердцем, прячет мордочку в лапы и замирает. Ждёт. Он всегда ждёт. Даже когда я сплю, бодрствует, считает вдохи соседей, прислушивается к гулу за стеной, запоминает ритмы механизма.

Он не верит, что завтра будет иначе.

Но он продолжает ждать. Потому что ждать — это единственное, что осталось делать тем, кто уже забыл, как дышать свободно.

Темнота становится абсолютной. Я проваливаюсь в неё, как в маслянистую, тёплую воду. Нет снов. Нет образов. Только низкий, тягучий гул где-то на границе слуха — он теперь внутри меня, пульсирует в такт сердцу, сливается с ним, становится им. Я больше не отличаю, где заканчивается механизм и начинаюсь я.

Мы одно целое.

Шестерёнка номер девять.

И завтра, когда лампы моргнут дважды, я открою глаза и сделаю шаг. Застелю койку. Встану в строй. Получу удар. Или не получу. Съем обед, который пахнет металлом. И лягу в ту же кровать, под ту же трещину в форме буквы «Т».

Потому что так легче. Потому что так надо.

Потому что я уже не помню, каково это — не подчиняться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.